

ИЗ "ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ"

Прочел я "Последние песни" Некрасова в январской книге "Отечественных записок"¹. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного. Наш поэт очень болен и - он сам говорил мне - видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно)², но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, - из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг "Бедных людей", мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки "Петербургские шарманщики" в один сборник³. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню а пока жил, некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал! "Принесите рукопись" (сам он еще не читал ее): "Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу"⁴. Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказал с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой "партии" "Отечественных записок", как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и - "осмеет он моих "Бедных людей!" - думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами - "неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, - все это ложь, мираж, неверное чувство?" Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о "Мертвых душах" и читали их в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: "А не почитать ли нам, господа, Гоголя!" - садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: "С десяти страниц видно будет". Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. "Читает он про смерть студента, - передавал мне потом уже наедине Григорович, - и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: "Ах, чтоб его!" Это про вас-то, и этак мы всю ночь". Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: "Что ж такое, что спит, мы разбудим его, *это* выше сна!" Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало общительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о "тогдашнем положении", разумеется, и о Гоголе, цитую из "Ревизора" и из "Мертвых душ", но, главное, о Белинском. "Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, - да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!" - восторженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками. "Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!" Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное - чувство было дорого, помню ясно: "У иного

успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!" Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один⁵. Писал он тоже чуть не с шестнадцати лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверно, уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. "Новый Гоголь явился!" - закричал Некрасов, входя к нему с "Бедными людьми". "У вас Гоголи-то как грибы растут", - строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его "просто в волнении": "Приведите, приведите его скорее!"

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим, - "этого ужасного, этого страшного критика". Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. "Что ж, оно так и надо", подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: "Да вы понимаете ль сами-то, - повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему обыкновению, -- что это вы такое написали!" Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. "Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник - ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей - он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть "их превосходительство", не его превосходительство, а "их превосходительство"; как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, - да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возведена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!"...

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) "И неужели вправду я так велик", - стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда - разве можно было это вынести! "О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду "верен"! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; и к ним, с ними!"

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге,

вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидел, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его. "Это я об вас тогда написал", сказал он мне⁶. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещице их недопеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен⁷.

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы "верны", пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!..

Примечания

Отношения Достоевского (1821--1884) с Некрасовым были сложными и неровными. "Первая встреча моя с ним в жизни, - вспоминал Ф. М. Достоевский историю своего знакомства с Некрасовым,-- была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная" (*Достоевский*, т. XI, стр. 22). Поэт одним из первых признал талант Достоевского, привлек его к участию в издаваемых им сборниках, восторженно встретил его первое произведение "Бедные люди", о котором писал тогда; "Роман - чрезвычайно замечательный" (X, 43). Достоевский ценил в Некрасове его деловую энергию, его литературный вкус, его бескорыстное отношение к молодым литераторам. Совместно с Некрасовым и Григоровичем Достоевским была написана шуточная повесть "Как опасно предаваться честолюбивым снам", опубликованная в 1846 году в альманахе "Первое апреля". Первый конфликт между Достоевским и Некрасовым произошел, когда руководители редакции "Современника" выразили желание, чтобы Достоевский стал постоянным сотрудником этого нового органа, а не "Отечественных записок". В ноябре 1846 года Достоевский писал брату: "Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с "Современником" в лице Некрасова. Он, досадуя на то, что я все-таки даю повести Краевскому, которому я должен, и что я не хотел публично объявить, что не принадлежу к "Отечественным запискам", отчаявшись получить от меня в скором времени повесть, наделал мне грубостей и неосторожно потребовал денег. <...> Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать" (Ф. М. Достоевский. Письма, т. I, ГИЗ, М. --Л. 1928, стр. 102--103).

Помимо нежелания Достоевского порвать с "Отечественными записками" настороженность Некрасова и его литературного круга вызывали неровность поведения молодого писателя, его самолюбивый характер.

Среди литераторов даже распространился слух, будто Достоевский требовал от Некрасова, чтобы он печатал "Бедных людей" в отличие от других статей альманаха "особенным типографским знаком" (*Анненков*, стр. 283). Такое поведение Достоевского осмеивалось в пародийном стихотворении Некрасова и Тургенева "Витязь горестной фигуры..." (I, 423--424). Позже в незавершенном произведении о литературной жизни 40-х годов Некрасов создает образ писателя Глажиевского, самолюбивого сочинителя повести "Каменное сердце", в котором легко угадывался автор "Бедных людей" (см. VI, 454--483).

По возвращении Достоевского из ссылки редакция "Современника" хотела возобновить сотрудничество с ним. А. Н. Плещеев в письме к Достоевскому от 4 августа 1858 года описал одну из бесед с Некрасовым и Панаевым: "Они с большим участием расспрашивали меня о вас и говорили, что, если вы желаете, они тотчас же пошлют вам денег; и не станут вас тревожить, пока вы не будете иметь возможность написать для них что-либо" (*ЛА*, б, стр. 256--257). Но сотрудничество это не состоялось, несмотря на то, что первоначально Достоевский и предложил "Современнику" "Село Степанчиково".

Помимо преград, связанных с журнальными условиями, возникали и другие, общественно-политические. Достоевский и Некрасов возглавили журналы, которые вели между собой резкую полемику, выражая различные позиции в литературно-общественном движении 60-х годов. В 1861 году Достоевский опубликовал в своем журнале "Время" статью "Г-н --бов и вопрос об искусстве", направленную против эстетической платформы "Современника". Сочувственно принимая мотивы покаяния в поэзии Некрасова, Достоевский отрицательно относится к ее революционно-демократическим тенденциям. В "Записках из подполья" (1864) он с пародийной целью использовал сюжет стихотворения Некрасова "Когда из мрака заблужденья...", а в издаваемом совместно с братом М. М. Достоевским журнале "Эпоха" опубликовал статью Н. Н. Страхова "Заметки летописца" (1864, No 12), отрицающую значение поэзии Некрасова.

Однако журнальная полемика не привела к разрыву между обоими писателями. Некрасов в журнале "Время" (1863, No 1) напечатал отрывок из поэмы "Мороз, Красный нос" ("Смерть Прокла"), а Достоевский в том же году предполагал отдать "Современнику" свою повесть "Игрок". "Статья моя "Современника", наверно, не изуродует, - писал он из-за границы Н. Н. Страхову. - Во всяком случае, можно обратиться прямо к Некрасову. Это *sine qua non* {Непременное условие (*лат.*)}. И с ним решить дело. Это бы даже очень недурно. Даже лучше "Библиотеки", Некрасов, может быть, не очень на меня сердит. Да и человек он, по преимуществу, *деловой*" (Ф. М. Достоевский, Письма, т. I, стр. 335). В 1865 году Достоевский даже предложил Некрасову стать компаньоном по изданию "Эпохи". На что Некрасов не согласился. Тем не менее до 1874 года между ними не было постоянных и тесных контактов.

В 1875 году Достоевский отдал роман "Подросток" по просьбе Некрасова в "Отечественные записки". В письме к жене он сообщил о том, как Некрасов пришел, "чтобы выразить *свой восторг* по прочтении конца первой части" романа, "которого он еще не читал, ибо перечитывает весь номер лишь в окончательной корректуре перед началом печатания книги". В этом же письме Достоевский передает суждения Некрасова о "Подростке": "Всю ночь сидел, читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволил бы этого себе". "И какая, батюшка, у вас свежесть... Такой свежести, в наши лета, уже не бывает и нет ни у одного писателя..." Вообще Некрасов доволен ужасно. "Я пришел с вами уговориться о дальнейшем. Ради бога, не спешите и не портите, потому что слишком уж хорошо началось" (Ф. М. Достоевский, Письма, т. 111, стр. 151 - 152).

Известие о тяжелой болезни Некрасова, о его страданиях пробудили в Достоевском былые чувства к поэту, воспоминания о прошлом, о той роли, которую он сыграл в его литературной судьбе. В одно из своих посещений больного Некрасова Достоевский получил от него в дар книгу "Последних песен" (1877) с вписанными поэтом строками стихотворения "Молебен", которые им не были ранее включены по цензурным соображениям (см. *РЛ*, 1969, No 1, стр. 187--188).

В речи на похоронах поэта (см. стр. 481--485), в статьях, написанных после его смерти, Достоевский энергично защищал Некрасова от клеветы, измышлений, восторженно отзывался о его поэзии. Его привлекала личность поэта, "вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя" (*Достоевский*, т. XII, стр. 357--358).

Печатается по тексту "Дневника писателя", 1877, январь, стр. 20--24.

¹ Стр. 66. В "Отечественных записках" (1877, No 1) из цикла "Последние песни" были опубликованы стихотворения: "Вступление". ("Нет! не поможет мне аптека..."), "Дни идут... Все так же воздух душен...", "Сеятелям", "Молебен", "Друзьям", "Скоро стану добычею тленья...", "Зине" ("Двести уж дней...").

² Стр. 66. У Некрасова была злокачественная опухоль.

³ Стр. 67. "Петербургские шарманщики" были напечатаны в сборнике "Физиология Петербурга", ч. I (1845).

⁴ Стр. 67. Некрасов готовил к изданию "Петербургский сборник".

⁶ Стр. 68. Некрасов приехал в Петербург в июле 1838 г.

⁶ Стр. 71. Речь идет об образе Крота в поэме "Несчастные". Исследователи поэмы пришли к выводу, что образ Крота - собирательный. В нем отразились черты передовой интеллигенции 40 - 50-х годов, а не только одного Достоевского (см. II, 631--632).

⁷ Стр. 71. Из стихотворения "Скоро стану добычею тленья...". Курсив Ф. М. Достоевского.